

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Юрий ЛЕВАДА

Человек обыкновенный в двух состояниях¹

Поддержанию теоретического интереса к теме социального типа человека способствуют перипетии сугубо практического, событийного плана: образ человека ушедшей эпохи на различных его уровнях не только не уходит со сцены, но порой приобретает новые значения. Ссылки на этот образ ("нашего человека", "совка", "русского человека": "чего от него ждать?" или "что же с ним можно сделать?" и т.п.) нередко исполняют функцию оправдания сложившейся тупиковой социально-политической ситуации в обществе. Многие данные текущих опросов общественного мнения можно использовать для подтверждения тезиса о том, что именно эта ситуация соответствует интересам "большинства". Ранее приходилось рассматривать сомнительность самой аргументации в парадигме "большинства" и "меньшинства"². Но другая слабость, если не порочность "социологического" оправдания действительности — в игнорировании условий сохранения, воспроизводства (и использования) получаемого в опросах образа человека. Только в последнее время становится более или менее ясно, в какой мере эти условия сохраняются или трансформируются в обстановке социальной нестабильности, как меняются функции демонстративных и латентных факторов — "большинства" и "меньшинства".

"Обыкновенность" человека: рамки и переходы. В контексте различных исследовательских задач используются разные варианты определений и классификаций типов социального человека. В частности, такие термины, как "массовый", "простой", "средний" обозначают, что

предметом внимания является не специализированный, не элитарный, не исключительный тип и т.д. В настоящей статье делается попытка рассмотреть тот же, по существу, предмет исследования под другим углом зрения — не содержания, а скорее *состояния*. Обыкновенное состояние человека следует разграничить с состоянием *возбужденного* (напряженного, экстраординарного). Обыкновенное не сводится к "повседневному", так как с необходимостью предполагает функциональное взаимодействие будничного и праздничного, ритуального и инструментального, трагического и иронического и прочих начал или сфер жизни человеческой. Поэтому же несводимо оно и к "обычному" (возникают ненужные аналогии с обычаем, обычным правом и пр.). Нельзя описывать "человека обыкновенного" как меньшинство, большинство, часть и т.п. — это "все", но в определенном состоянии (или соотношении компонентов), за довольно редким исключением одержимых собственным величием политических маньяков и их фанатичных поклонников. Это те самые "все", которые более или менее удачно, а чаще просто привычно или по примеру окружающих, сочетают "дружбу" и "службу", обязанности и привязанности в различных сферах, отнюдь не противопоставляя их друг другу. Эти "все" при определенных обстоятельствах могут выходить из состояния обыденности, отдаваясь волнам массового страха, восторга, ненависти, поклонения или какого-то безудержного увлечения. Соблюдая принципы аналитической объективности, стоит остерегаться описания таких *фазовых* переходов, как подъем или, наоборот, падение. И каждый раз возвращаться из особого ("возбужденного", "чрезвычайного") состояния к обыкновенному.

Представленное же различие состояний применимо не только к социальному типу человека, но также и к типам *общества* или социаль-

¹ В основе статьи — доклад на XII Международном симпозиуме МВШСЭН и Интерцентра "Пути России: двадцать лет перемен". Январь 2005 г.

² См.: Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2004. № 5.

ного *времени* (периодам). Бывают времена напряженные (жертвенные, трагические и пр. — все это можно представить как варианты "мобилизационных" состояний) и времена обыкновенные, когда подвиги не требуются, а жертвы воспринимаются как случайные и огорчительные потери.

В напряженные времена от человека обыкновенного требуют того, на что он в принципе не способен, поэтому его пытаются унижать, пугать, ломать, понуждая его хотя бы сделать вид, что он готов к подвигам и жертвам, точнее, к страданиям и потерям. (А он стремится лишь к тому, чтобы уцелеть в невозможных условиях.) В переходные, *"разоблачительные"* эпохи становится общепризнанным, что значительная часть подвигов сочинена, а позорные потери выданы за искупительные жертвы. Во времена обыкновенные все виды принудительной напряженности уходят в мифологическую память, а деятели, по должности претендующие на великие свершения, выдают себя за простых парней "как все". Опыт избирательных и других имиджевых кампаний в разных странах дает множество поясняющих примеров (ср. недавнее заявление российского лидера об отсутствии намерений выдавать себя за выдающегося деятеля века...)

"Смещение" времен, о котором идет речь, многократно создавало и постоянно вновь воссоздает почву для *имитационных* структур деятельности соответствующих символов и персонажей. По мере того как откладывается в туманное будущее формирование общественной системы, способной к "социальному самовоспроизводству", в том числе к воспроизводству моральных и эмоциональных факторов собственного существования, например, надежд и доверия в отношении социальных институтов, властной иерархии, ее функционерам, неизбежно усиливается соблазн использования имитативных структур, легитимации существующих порядков с помощью символов исторической мифологии, апелляций к "великому (чаще легендарному) прошлому" и т.п. Результатом, впрочем, оказывается также сугубо имитативная конструкция — самооправдание для какой-то части высшей элиты, которое даже она сама не принимает всерьез (функциональная аналогия "платя" известной коронованной особы). Оказавшись в пограничном слое между вызовами реальности и навязанными иллюзиями, человек обыкновенный чаще всего предпочитает лукавую и в принципе бесперспективную позицию не перечить, но и не принимать всерьез то, что ему предложено в качестве имитации священных символов, опор или прикритий. Можно

сформулировать содержание такого приема в более строгих терминах: определение собственной ситуации через отдаление человека от центральных или болевых, напряженных локусов системы социальных значений. Перефразируем известную фольклорную формулу: человек обыкновенный обыкновенно (т.е. в "нормальной" для него ситуации) ищет, где спокойнее, и эту позицию признает "лучшей".

"Близкое" и "далекое" как параметры социального расстояния. Характеризовать относительное расположение социальных феноменов, видимо, можно по-разному, учитывая варианты долгосрочных и кратковременных интересов в соответствующих условиях и пр. Один из приемлемых подходов — оценка ("измерение") расстояния рассматриваемой позиции от "близкой" для человека.

Два примера. "Вторая чеченская" начиналась, как известно, под массовые аплодисменты как решительная, но далекая от человека обыкновенного акция обновленной власти; массовое участие и массовые жертвы (со "своей" стороны, а по опросным данным, людей только она и волнует) не предполагались. Когда же по обоим этим показателям война оказалась все более близкой, а ее успех — все более далеким, критерии и оценки бесповоротно изменились, поскольку военные действия стали восприниматься в плане "своих" жертв и "своей" боли, не говоря уже о почти повсеместном страхе перед новой, террористической, опасностью. Немалая часть российского населения переживает чеченский опыт как непосредственно личный (сами или их близкие прошли через эту войну). Такую ситуацию *приближения* в принципе не изменило превращение переживаний, связанные с чеченской войной, в привычные — как бы смена острой боли хронической.

Противоположное направление смещения значений, *отстранение* обнаружило развитие событий вокруг ЮКОСа и его руководства в 2003-2004 гг. Осенью 2003 г. арест М.Ходорковского вызвал чуть ли не шоковую реакцию — недоумение, возмущение — примерно у половины опрошенных, а предстоящий суд над крупнейшим бизнесменом страны чаще оценивался как несправедливый и преимущественно политически мотивированный. Спустя несколько месяцев, ситуация явно изменилась, большинство опрошенных обнаружили готовность признать преследование компании экономически обоснованным, а суд — справедливым. Как известно, и в политически ангажированном слое, и даже в бизнес-элите первоначальные голоса

протеста практически смолкли. В числе факторов такой перемены — установившееся за последнее время представление о том, что давление власти направлено лишь на одну неудобную компанию, а потому вся эта история разворачивается *далеко* от жизни интересующего нас персонажа, человека обыкновенного, к какому бы общественному слою он ни принадлежал. Судя по опросным данным, эта позиция непоследовательна и неустойчива, время от времени она уступает место сомнениям, подозрениям, например, таким, что разорение ЮКОСа принесет пользу лишь чиновникам и кучке близких к власти дельцов или что за "делом" М.Ходорковского последует череда аналогичных операций, направленных против бизнеса. Скорее всего, в данной ситуации процедура отстранения приводит к позиции упования, надежды (известно, впрочем, что как раз массовые надежды оказываются самым прочным опорным камнем социального доверия и поддержки политических авторитетов).

Прямые и косвенные последствия процедуры отстранения многообразны. Отграничение "ближнего" круга социальной жизни от "дальнего" отделяет сферу непосредственного влияния или воздействия человека, т.е. того, что он способен изменить, от сферы (институтов, организаций, авторитетов), к которой он может лишь приспособиться. Иными словами, область его непосредственного личного действия и область его *"зрительского" соучастия* в процессах и событиях, на которые он влиять не может. Вне пределов своего профессионального или специализированного, статусного и прочего действия любой и каждый человек выступает как человек обыкновенный и принимает участие в "больших" делах как "зритель". Такое разделение подкрепляется принципиальным отличием информационных источников, которыми человек пользуется: в первом случае — это собственный опыт, во втором — все более могущественная масскоммуникативная сеть.

Замыкание человека в собственном "малом" мире — важная предпосылка, с одной стороны, его адаптации к социальной реальности, а с другой — его изоляции в кругу собственных дел и интересов. Точнее, пожалуй, это *такая* адаптация, которая неизбежно предполагает изоляцию. Никакие экономические, потребительские, информационные, даже политические возможности, обретенные за последние полтора десятка лет, принципиально не изменили такого положения. Безразличное и безропотное принятие большинством населения "авторитарных" сдвигов последнего времени лишний раз это подтверждает. В какой-то мере подобная ситуа-

ция универсальна для любого современного массового общества, где человек со своим "малым" миром: семьи—работы—досуга — связан с "большой" социально-политической реальностью через аналогичную систему массмедиа. "Наш" вариант — это безальтернативные массмедиа, это люди, не привыкшие фильтровать и оценивать приходящую информацию. А главное же, изолированный человек, энкапсулированный в своем мире, который не принимает гражданской ответственности за "происходящее в стране" и не только не готов, но и не испытывает склонности к гражданскому, коллективно-ответственному действию. Это прямое наследие советского, тоталитарного периода, которое как будто сохранилось в "первозданном" виде за одним, правда, исключением: рассеялся, и видимо, безвозвратно, тот универсальный страх, который допускал лишь один вид коллективного поведения — коллективное заложничество (если "все" считаются ответственными "за одного", это означает, что "все" принуждены, вынуждены и заранее готовы ради собственного спасения этого "одного" выдать и растоптать...). Сегодня кажется, что *такой* страх снят, а "менее страшные" опасения стать объектом произвола, угрожающего карьере или благополучию, к *таким* последствиям не ведут, не могут вести. Но главный результат советского антигражданского, антиколлективистского воспитания — человек *изолированный* (и даже самодостаточный в своей изолированности) — устойчиво сохраняется и вне атмосферы всеобщего утрашения.

Свое и чужое — важнейшие категории самоопределения человека. Их не стоит смешивать с оппозициями "близкое—далекое" или "хорошее—плохое". "Свое" может выглядеть и отрицательным, а возможно, и далеким, чужое — быть предметом восхищения или зависти и т.п. Но в любом случае "свое" (генетически "фамильное") оценивается по иным правилам, в другой системе координат, чем какое бы то ни было "чужое". Параметры такого разделения, простые и понятные в традиционных обществах, в условиях модернизационных перемен и растущей взаимосвязанности регионов, народов, культурных систем становятся размытыми и проблемными, но сохраняют свое значение для многих людей и сообществ.

Нельзя упускать из виду, однако, что это отчуждение нередко является прямым или косвенным следствием *вынужденных* процессов реального (миграционного, экономического, культурного) сближения, взаимодействия, взаимной ассимиляции (если понимать этот термин в буквальном смысле, как уподобление) людей и

групп — процессов, которые приняли лавинный характер после разрушения многих локальных и социальных рамок, закрытой экономики и пр. Понятно, что реакция на эти процессы, стремление сохранить в неприкосновенности привычные формы локальной или этнической идентичности также могут рассматриваться как неизбежная характеристика этой ситуации. Притом, что ни власть, ни общество (как элиты, так и "массы", причем со всех сторон) не готовы и не способны к "нормальному", т.е. цивилизованному решению возникающих проблем, в том числе к преодолению этнических фобий. В итоге действующей фигурой остается "человек обыкновенный", растерянный, не имеющий за душой (в культурном багаже) ничего, кроме утративших свою эффективность стереотипов, а потому вынужденный мучительно трудно, с постоянными срывами и катаклизмами, приспосабливаться к изменяющейся обстановке или столь же трудно сопротивляться ей.

Не происходит ли нечто подобное и с "государственно" чужими, т.е. с новыми (да и "старыми") иностранцами? При всех существующих и особенно декларируемых барьерах в истории России еще не было столь тесных контактов с "дальним Западом", в том числе на межличностном уровне. Отсюда и практическая актуальность многосторонней проблемы сближения/отдаления или контактов/изоляции в этом плане.

Один из показательных поворотов темы "своих и чужих" в сегодняшнем общественном, да и в официальном мнении — представления о необходимости неких обязательных ограничений для "своих". Так, неприязненное, если не сказать "агрессивное", отношение к недавним переменам на Украине явно обусловлено укорененным образом этой страны и ее народа как "своих", которым не положено быть самостоятельными или проявлять реальное стремление к сближению с Европой.

Новые комплексы "врага"? В социально-политической мифологии мобилизационного общества, советского и в значительной мере постсоветского, образ "Врага", как известно, занимал не менее важное место, чем противопоставленные ему образы "Героя", "Жертвы" и т.п.¹ Очевидным достижением последнего политического периода, согласно данным опросов, можно считать обновление общественного внимания к

этому образу: по исследованию 1999 г., 65 против 14% опрошенных, а в 2003 г. уже 77 против 9% отмечали, что у сегодняшней России "есть враги". Причем из молодых, до 20 лет, признавали их существование 74%, а из 50-летних — 82%.

Но в последние месяцы, особенно в конвульсивной политической риторике после Беслана (сентябрь 2004 г.), вариации образа врага приобрели как будто новые смыслы: как будто после весьма долгого, более чем 50-летнего, перерыва поднялись на официозную поверхность темы "мирового заговора" против нашей страны, внутренних врагов, "предателей России". Вопросы о том, насколько обоснованы или с какими целями используются такие инвективы, разумеется, не входят в рамки исследования общественного мнения. Но весьма важно представить, кто и *насколько серьезно* сейчас готов воспринять давно испытанную терминологию как средство объяснения современных кризисных ситуаций.

В конце сентября 2004 г. почти половина опрошенных (45 против 39%), следуя официальным декларациям, усмотрели существование "мирового заговора против России". Но различия в позициях возрастных групп оказались довольно значимыми: так, среди самых молодых, до 25 лет, соотношение мнений составило 37:46, а у пожилых, 55 лет и старше, — 44:32. Если же взять "партийный" расклад мнений (по намерениям голосовать на будущих выборах), то получается, что наибольшей готовностью поверить в заговор отличаются избиратели "Родины" (66:25) и КПРФ (61:30). Что примечательно, в электорате "единороссов" скорее не верят в него (39:48) и, конечно, менее всего принимают эту версию потенциальные избиратели "демократического блока" (16:66). Из тех, кто "очень хорошо" относится к США, признают мировой заговор 37 против 49% опрошенных, а из тех, кто обозначает свое отношение к этой державе как "очень плохое", — 79 против 15%. Наконец, может быть, наиболее показательным, что из одобряющих деятельность В.Путина принимают или не принимают идею заговора одинаково часто (41:42), а из не одобряющих ее значительно чаще признают (58:31).

Это значит, что тема "мирового заговора" по-прежнему близка преимущественно людям старших возрастов, людям "советской" закалки, тем, кто испытывает ностальгию по старым временам, в том числе по установкам идеологического противостояния. Именно эти группы, как и ранее, составляют привычную опору консервативной оппозиции нынешнему режиму. Кстати, именно на эти группы пришелся "антильготный" удар в начале 2005 г., — тем самым власть лиши-

¹ См.: Гудков Л. Комплекс "жертвы". Особенности массового восприятия россиянами себя как этнонациональной общности // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 1999. № 3. С. 47-60.

лась возможности найти в них опору. А на собственнo путинский электорат эта тема, вброшенная "сверху" и активно распространяемая молодежным авангардом режима ("Идущие вместе", "Молодежное единство"), воздействует значительно слабее. Поэтому, должно быть, и не видно сегодня в обществе сколько-нибудь массовой кампании ("уроков ненависти", согласно известной формуле) против новоявленных "врагов", как заметно и изменения общего отношения к предполагаемым центрам "заговора" (США, "Западу").

В социологическом плане важна, разумеется, не сама по себе конструкция "образа врага", а его *функция* в общественных настроениях и общественном мнении. В определенных условиях, например, под влиянием тяжелых поражений (как в начале войны в 1941 г.), этот образ может оказаться пугающим, сеющим панику, дезорганизующим. Понятно, что современные идеологические "технологии" рассчитывают на такой имидж неприятелей, который исполнял бы иную, *мобилизующую* роль, т.е. на превращение массовых эмоций страха в организованную ненависть по отношению к врагу и готовность безоговорочно подчиниться военной или государственной дисциплине, жертвуя личными интересами. Аналогии с событиями военных и последовавших за ними лет очевидны. Но если "мобилизация ненависти" в борьбе с таким противником, как сегодняшний чеченский сепаратизм, в определенной мере еще связана с надеждами на успех (правда, в общественном мнении в такой успех верят все меньше), то призывы к противостоянию "всемирному заговору", очевидно, рассчитаны не на победу над врагом, а только на *внутреннее* потребление, на социальную мобилизацию ради решения каких-то внутривнутриполитических или даже внутриклановых задач.

Стоит обратить внимание на то, что терминология "всемирного антироссийского заговора" как будто приходит на смену бытовавшим в последние годы, после сентября 2001 г., ссылкам на "мировой терроризм". По исследованию 2003 г., 61% указал на "международных террористов" как на врагов России. В этом есть своя логика: "мировой терроризм" для российского человека и власти — некая космополитическая абстракция, создававшая видимость единения России с Западом — скорее внешнего, для использования на уровне саммит-дипломатии и т.п. Как источники, так и адресаты угрозы остаются анонимными, далекими от привычных образов. Кроме того, концепция мирового терроризма предполагает довольно рискованную для российского руководства линию международной легитимизации чеченской войны (международные корни — меж-

дународное посредничество — международный контроль и т.д. — вплоть до международного трибунала по военным преступлениям). Неудивительно, что на отечественной политической почве такое направление мысли не могло прижиться. А "всемирный антироссийский заговор" — совсем иная, традиционная, знакомая идеологическая конструкция. Ее адресат понятен, а источники, хотя еще прямо не названы поименно, но очевидны — тот же "Запад", США, "финансово-промышленные круги", т.е. та же "мировая буржуазия", но, как мы уже видели, приемлемая в основном не для сегодняшних, а для "вчерашних" общественных слоев. Можно, правда, предположить, что идея "заговора" появилась в рамках подготовки следующего, условно говоря, "послепутинского" политического варианта. Проблема его осуществимости нуждается в особом рассмотрении.

Традиционной составной частью концепции мирового заговора служит представление о "внутренних врагах" ("предателях", поддерживаемых зарубежными силами во вред нашей стране и ее военным акциям). Между тем значительного резонанса в общественном мнении такие суждения не получают. Согласно данным одного из опросов (ноябрь 2004 г., N=1600 человек), действия политиков и общественных деятелей, выступающих за переговоры с чеченскими боевиками, одобряют около 40% опрошенных, их призывы к переговорам считают вредными для страны 12%, но в таких людях склонны видеть "предателей и врагов России" только 6%. Среди самых молодых такой взгляд разделяют всего 2%, но в группе 25–39 лет — 9%. По партийным электоратам: сторонники ЛДПР — 18%, "Родины" — 16, как ни странно в СПС — 11, но в КПРФ — всего 2 и в "Единой России" — 5%. А попытку Комитета солдатских матерей установить контакт с представителями противоборствующей стороны тогда же одобрили 64% опрошенных.

Чаще всего в 2003 г. в качестве врагов страны упоминались чеченские боевики (69%), что вполне очевидно. Удивительным, а значит, требующим анализа, можно считать то, что после Беслана не было отмечено резкого всплеска воинственных настроений, сравнимых, например, с теми, которые наблюдались после Дубровки в 2002 г. Тогда число сторонников мирных переговоров уменьшилось почти на 20%, а доля сторонников продолжения военных действий возросла примерно в той же мере, так что на короткое время их позиции стали преобладающими. После трагических событий в Беслане аналогичные изменения общественных настроений оказались заметно более слабыми: если в августе

2004 г. соотношение сторонников войны и переговоров составляло 21:68, то в сентябре — 32:55, т.е. сохранился значительный перевес установок на мирный выход из положения. В октябре 2003 г. чувства "ненависти, мести" по отношению к чеченцам испытывали 24% опрошенных, не испытывали 69%, в октябре 2004 г. — 29:57. Такой рост негативных установок уместно оценить как довольно сдержанный.

Очевидно, что патриотической мобилизации общественных настроений, сопоставимых с такой, которая отмечалась в США сразу после террористической атаки 11 сентября 2001 г. ("равнение на флаг"), в России после серии терактов лета и осени 2004 г. *не произошло*. Если полагать, что декларации, прозвучавшие как бы в ответ на бесланские вызовы, были рассчитаны на непосредственный массовый эффект, то в их действительности следует усомниться. "Человек обыкновенный" не был охвачен ни ненавидящей яростью, ни восторгом повиновения, иначе говоря, не перешел из обычного состояния в возбужденное. Но нуждалась ли власть в таком переходе или, скажем осторожнее, имела ли основания рассчитывать на такую возможность? Правомерно предположить, что реальной целью как будто мобилизующих акций и деклараций служит отнюдь не взвинчивание социальной атмосферы и перевод общественных настроений в фазу напряженности, возбуждения, а всего лишь *имитация* такого перехода, которая служила бы прикрытием и признанием собственной неспособности найти реальный выход из созданных за последние годы тупиковых ситуаций. В пользу такого предположения свидетельствуют и упомянутые выше воинственные демонстрации юных послушников власти.

Таким образом, возникает весьма интересная в аналитическом плане проблема соотношения и взаимных переходов "прагматических" и символических (ритуальных, имитационных, коммеморативных и пр.) состояний или акций. Такое соотношение методологически удобно рассматривать в рамках смены фаз в процессах, которые можно обозначить, несколько расширяя классическую терминологию, как "рутинизацию".

Рутинизация: прагматические и символические аспекты. В рамках терминологии, использованной в настоящей статье, к рутинизации можно относить, например, процессы перехода от возбужденного ("героического") состояния общества к обычному, "рутинному".

Динамическая структура процессов такого типа предполагает переоценку как практических ожиданий (прагматики), так и символичес-

ких облачений социального действия. Как отмечалось выше, в "героические" периоды общественных переломов происходит трансформация общественных ожиданий, представлений о социальных институтах и лидерах, о самих переменах, о противостоящих силах, о собственных потерях и достижениях и т.д. по канонам социальной мифологии. В результате, скажем, изменения во властвующих элитах представляются переворотом исторического масштаба, высокопоставленные чиновники — лидерами нации, облаченными (массовым воображением при поддержке масс-коммуникативного понуждения) в тогу легендарных героев-спасителей, оппоненты и скептики приобретают значения "заклятых" врагов или их пособников, а последствия хаоса и некомпетентности выдаются за жертвы, приносимые на алтарь будущих успехов. В той или иной форме и в различных масштабах — от гипертрофированных до пародийных — такой набор семиотических признаков обнаруживался в начале каждого значимого периода минувшего столетия, в дальнейшем происходила его деформация и переоценка, своего рода "обратный отсчет" социального времени, правда, не способный воспроизвести пройденные этапы в их целостности. С чем-то подобным приходится сталкиваться в последнее время.

Расставание общества, как и отдельного человека, со своими иллюзиями, как показывают исторический опыт и современные наблюдения, простым не бывает. Так, расставание общества, прежде всего его интеллектуально-политизированной элиты, с иллюзиями коммунизма заняло десятилетия, происходило в несколько этапов, с романтикой перестройки прощались не столь долго, но тоже не просто. Трансформацию ожиданий и символов последующего периода еще предстоит изучать обстоятельно.

Во всех случаях пути трансформации прагматических и символических компонентов расходились. Уровень практических действий и ожиданий шаг за шагом снижался, фантастические ожидания прорыва к новой жизни, изобилию, мировому уровню и т.п. низводились до некоторого улучшения или даже до просто сохранения достигнутого ранее. В любом случае отсчет от воображаемого будущего заменялся отсчетом от наличных обстоятельств, происходило "приземление" образца. Такова в принципе *прагматическая* составляющая рутинизации.

Иначе происходит, по-видимому, трансформация символических компонентов этого процесса. В "героические" периоды идеологические символы, лозунги, личная харизма лидеров исполняют существенные мобилизующие, консо-

лидирующие и т.п. функции. По мере рутинизации такие символы утрачивают "прикладные" значения, но могут относительно долго сохраняться в ином качестве — как сугубо ритуальные или церемониальные условности, как воспоминания об утраченных иллюзиях, как тени несбыточных надежд, фигурально выражаясь. Омертвевшие, опустошенные символические конструкции "второй свежести" не поддаются прагматической критике или ревизии именно в силу своей отрешенности от социальной реальности. В итоге получается, что прагматические надежды угасают, а их тени, символы надежд остаются, практическое доверие к лидерам заменяется символическим (символы доверия), да и лидеры превращаются в *символы лидеров* (траектория образа выглядит примерно как путь от должностного лица к лидеру, от лидера к "живому" символу, затем к символу омертвевшему). Примеры таких превращений наблюдались и на исходе советской системы, и в годы кризиса перестройки и ельцинского правления. Если взглянуть на проблему с другой стороны, как бы "снизу", нетрудно заметить, что "человеку обыкновенному" в его нынешнем полудовольном и усталом состоянии вовсе не нужен решительный герой ("лидер-преобразователь"), как не нужны и радикальные потрясения с их неизбежными издержками и жертвами — достаточно успокаивать себя представлением о существовании символического "гаранта стабильности". Недаром именно этой маской пользуется власть, даже принимая решения, опасные для "стабильности", в частности, для наличного баланса надежд и разочарований. Но, как мы уже видели, образ "героя-лидера" в массовом сознании существует

в комплексе (в "одном флаконе") с образами "врага", "жертвы" и пр. И процедура "рутинизирующей модернизации" касается всех компонентов: символический лидер проводит символическую мобилизацию под предлогом противостояния столь же символическим противникам и т.д., впрочем, понесенные утраты нередко оказываются настоящими.

Как известно из регулярных опросов, постоянно наблюдается разительное расхождение в массовых оценках деятельности президента и назначаемого им правительства (например, в январе 2005 г. разница между позитивными и негативными оценками у президента была положительной и составляла 33%, у правительства была отрицательной — 32%). Объяснить это явление можно, скорее всего, отмеченным выше расхождением прагматических и символических функций: первые в общественном мнении относятся к правительственным, а вторые сохраняются за президентом. Поэтому за все беды и трудности приходится отвечать министрам, правда, только перед общественным мнением, а президентские рейтинги остаются почти неприкосновенными, "тефлоновыми". Из той же логики разделения функций вытекает и приписывание президенту достижений в росте зарплат и пр.

Ту же, по существу, картину можно выразить в терминах надежд — практических (приближенных к реальности) и предельных, как бы Надежд "с большой буквы" (рис. 1). Надежды всегда более устойчивы, чем практические расчеты, потому, что люди, "человек обыкновенный", в мире неопределенности в них нуждаются постоянно, а уж абстракция Надежды довольно долго сохраняется почти при любых обстоятельствах.

Рисунок 1

ИНДЕКСЫ НАДЕЖД НА ПРЕЗИДЕНТА: (надеются)–(не надеются) на то, что В.Путин сможет улучшить...

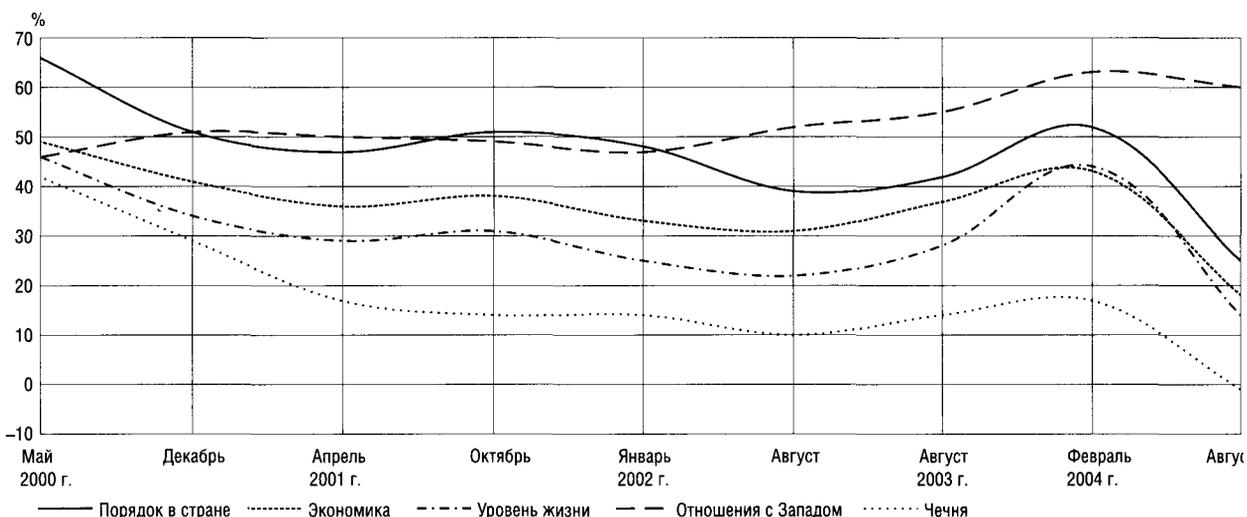


Таблица 1

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ УЖЕ УСТАЛО ЖДАТЬ ОТ В.ПУТИНА КАКИХ-ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СДВИГОВ В НАШЕЙ ЖИЗНИ? (е % от общего числа опрошенных в каждом замере, N=1600 человек)

Вариант ответа	2000 г.		2001 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
	Март	Август	Июнь	Июль	Апрель	Январь
Согласен*	45	50	47	50	57	57
Не согласен**	42	42	43	41	38	34
Индекс согласия***	3	8	4	9	19	23
Затруднились ответить	13	8	10	9	5	9

* "Определенно согласен" + "скорее согласен".

** "Скорее не согласен" + "определенно не согласен".

*** Разность между согласными и не согласными.

Поэтому "герой Надежды" как *символическое средоточие* общественных ожиданий, а именно эта функция возложена общественным мнением на образ президента, всегда оказывается в более выигрышном положении, чем любой практический руководитель. Правда, по мере рутинизации, это положение тоже усложняется и представленная выше его логическая модель требует соответствующих оговорок. Самый распространенный массовый аргумент в пользу сохранения высокого уровня доверия и надежд в отношении нынешнего президента — "больше не на кого надеяться" (мнение 41% опрошенных в августе 2004 г.) Показатели более приземленных надежд на то, что президент "сможет справиться" с конкретными проблемами страны, довольно устойчиво снижаются. В целом траектория трансформации общественных ожиданий выглядит примерно как последовательные переходы от реальных ожиданий к туманным надеждам, далее к символам надежд и т.д. вплоть до всеоправдывающего аргумента "безальтернативности".

Как видим, наивысший уровень внутривнутриполитических, если оставить в стороне международные аспекты, надежд на президента наблюдался после первых выборов, за ним последовал спад. Начало второго срока отмечено новым, но не столь значительным, подъемом, после чего наступает более глубокий спад.

Дополним приведенные выше данные ответами на другой регулярно задаваемый вопрос (табл. 1).

Рутинизация общественного политического режима или, шире, социально-политической системы — процесс довольно сложный, его последствия могут быть различными. Рутинизация советского строя, происходившая после размышления и конца сталинизма, примерно с 1960-х до 1990-х годов, в конечном счете привела не к его стабилизации, а к ослаблению его основ и последующему крушению. Как период правления М.Горбачева, так и период президентства Б.Ельцина привели не к рутинизации, а к *кризисам*, за

которыми следовали перемены в типах режима и составе правящих элит. В нынешних условиях тенденции рутинизации сочетаются с кризисными поворотами во внутренней, внешней, экономической политике и соответствующих сдвигах на уровне лозунгов и установок. Это, видимо, свидетельствует об отсутствии достаточно стабильного баланса интересов, а также механизма принятия решений, кадровой преемственности, особенно на верхних этажах власти.

Потенциалы "человека обыкновенного": до и после января 2005 г. Какую роль играет или *может* играть в таких процессах интересующий нас персонаж, "человек обыкновенный"? Как уже отмечалось, простейший и самый очевидный вариант его поведения — приспособительный (понижающая адаптация, снижение запросов, устойчивая тревожность "как бы хуже не было", сочетаемые, впрочем, с надеждами на "чудо твердой руки"). Но ни очевидность, ни распространенность не делают этот вариант *единственно возможным*. Латентные факторы вроде кризиса или неоправданных акций "сверху" при накоплении скрытого раздражения "снизу" могут приводить и к разрушению стандартных моделей массового поведения. В определенной мере это показал опыт и общественных трансформаций, и кризисов последних 20 лет в России, в советских границах и вблизи их рубежей.

Каждый из таких кризисов означал в интересующем нас плане изменение *собственного состояния человека*, т.е. переход от "обычного" (адаптивного) состояния в возбужденное, мобилизованное. Другая примета трансформации — появление на авансцене иного типа коллективной идентичности: место коллективно-уничижительного "МЫ—заложничества" занимает коллективно-возвышающее "МЫ—освобождение". Вряд ли можно обозначить пригодные для разных условий количественные параметры подобных переходов: число их участников, никогда не

достигающее 100% (неважно, населения или авангардной группы), оказывается достаточным, если способно воздействовать на значимую (опять-таки не вычисляемую заранее) массу людей.

Проникавшая на газетные плоскости перспектива "уличной" мобилизации, "баррикад" и т.п., в общероссийских масштабах или значениях, независимо от мотивов и направленности подобных акций, до последнего времени представлялась просто нереальной, точнее, крайне маловероятной. Это как будто вполне объяснимо особенностями российского социального пространства, наличными дистанциями между людьми, обсуждавшимися выше эффектами изолированности человека, настроениями равнодушия, готовностью довольствоваться малым, надеяться только на власть имущего и т.п. при отсутствии серьезных организующих (или солидаризирующих) факторов как внутренних, так и навязанных извне. Массовые выступления в различных регионах России с января 2005 г., по случайному историческому совпадению, в 100-летнюю годовщину аналогичных событий "первой" русской революции, показывают, что "маловероятные" варианты — к явному удивлению властей, наблюдателей и самих участников событий — оказываются реальными и значимыми.

Как известно, "инициатива" в данном случае исходила сверху, со стороны властей, не сумевших ни подготовить реформу "монетизации" льгот, ни предвидеть ее социальные последствия, ни своевременно реагировать на массовые протесты. Запоздалые и частичные корректировки скорее (на момент подготовки данной статьи, в феврале 2005 г.) подливают масло в огонь массовых протестов, чем гасят его. Уже сейчас ясно, что "баррикады" (в современном смысле — акции типа перекрытия магистралей) оказались возможными и даже эффективными средствами массового социального протеста.

Можно полагать, что действия государственных органов послужили детонатором давно назревавшего социального кризиса, притом касающегося не только сферы социальной политики, а всего комплекса отношений между властью и народом в стране. Очевидные — при всем различии периодов и участников — дальние аналогии из отечественной истории последнего столетия дают события начала 1905 г. и февраля 1917 г. Нуждаются во внимательном сравнительном анализе более близкие по времени и структуре социальные и социально-политические протесты 1950–1980-х годов в странах тогдашнего советского блока. В данном случае ограничимся некоторыми сопоставлениями только с самыми

недавними процессами в соседних с Россией странах — Грузии и Украине.

Человек в поляризованном свете — "розовом" и "оранжевом". Последние российские события придают особое значение анализу сходных и различных черт массовых акций в трех отмеченных ситуациях. Отличительная особенность обеих "цветных революций" в том, что они явились ответной реакцией на конкретный *политический вызов* со стороны властных структур (подтасованные выборы), адресованный не только определенным политическим оппонентам, но и народу в целом (предполагалось, что последнему все равно придется принять предложенные результаты). Отсюда непосредственно политическая направленность протеста — требования пересмотра результатов выборов и устранения правящей верхушки, обвиненной в фальсификации. Причем в обоих случаях имелись заранее подготовленный состав альтернативной лидерской группы и фигура ее неоспоримого харизматического руководителя. В более широком плане существующий режим обвинялся в коррумпированности и неэффективности. При этом ни экономические проблемы, ни социально-экономические требования на первый план не выходили.

Главным средством воздействия на властные структуры явились умело организованные массовые акции, получавшие поддержку значительной части населения. По всей видимости, в Грузии значительную роль играла импульсивная, эмоциональная возбужденность участников действия (захвата парламента, давления на президента), в Украине — рациональная организованность массовых акций в общенациональном масштабе, прежде всего в столице, в центральных и западных областях. Ничего подобного классическим описаниям агрессивного поведения "толпы" (у М.Московичи и др.) не наблюдалось нигде. В украинской ситуации ноября—декабря 2004 г. наглядными были элементы веселого и доброжелательного социально-политического карнавала.

В обоих случаях психологическим фоном и ресурсом массовых акций служила атмосфера широкой *национально-политической мобилизации*. Признаками национальной мобилизации можно считать ситуацию массового эмоционального подъема, охватывающего значительную часть социально активного населения страны и связанного с фактором коллективного самоутверждения. Речь идет, конечно, не об этническом, а о национально-государственном самоутверждении и самоорганизации массы как "народа". Предпосылками такой мобилизации служат сложившаяся ранее поляризация поли-

тических сил и элитарных групп в обществе, слабость правящей элиты, наличие популярных лидеров и мобилизующих символов, каналов массового воздействия, а также, разумеется, определенного ресурса социальных иллюзий. Притом, что важно подчеркнуть, речь идет о мобилизации, позитивно ориентированной на самоутверждение участников акций и страны в целом, при фактическом отсутствии мишени какого-либо внешнего "врага".

Одно из самых устойчивых препятствий общенациональной *позитивной* мобилизации в России — пережиточный имперский комплекс, постоянно воспроизводящий фактор "мобилизации против" ("*негативной мобилизации*", как выразился бы Л.Гудков). Ориентиром всех попыток имперской мобилизации служит *прошлое* состояние государства и общества, а инструментом — *старые* силы и стереотипы мышления, что обрекает такие попытки на неудачу, причем главным неудачником в конечном счете оказывается "имперская" сторона.

Непосредственные результаты "цветных революций" известны: быстрая и бескровная, институционально легитимизированная всеобщими выборами смена состава политической верхушки. Требуется определенное время, чтобы с уверенностью судить, в какой мере такие перемены скажутся на стиле и содержании общественно-политической жизни в соответствующих странах, на их демократических институтах и пр. Попытки перехода от "постсоветского тупика" к, условно выражаясь, "европейской" норме через напряжение национальной мобилизации, массовые акции, смену типа лидерства и пр. не могут быть простыми, неизбежны откаты, сделки, расколы и пр. Поскольку ни в одной из переживших такие перемены стран нет "идеологически" оправданных и институализированных партий, свое значение сохраняет "массовое" определение лидеров: они таковы, которых хотят, от которых чего-то ждут... и которым что-то позволяют. Отсюда и неизбежная проблемная "неустойчивость" самих лидеров, вынужденных постоянно подтверждать свою профпригодность.

Правомерность сравнения и различения массовых акций в Грузии, Украине, России, естественно, определяется наличием некоего "общего знаменателя" ситуации в этих странах. Таковым можно считать ситуацию "постсоветского тупика", характерного для многих стран советского наследия, кроме Балтии, а отчасти и "православного" южного угла бывшей Восточной Европы. Утвердившиеся в этом регионе порядки уместно определять как имитативную демократию, или

псевдodemократию, в которой сохраняются авторитарные или административно-бюрократические порядки, стиль личной власти при почти полном отсутствии политического плюрализма, возможностей реального выбора и пр., и неизбежной тотальной, государственно-организованной коррумпированности власти и общества. В подобной ситуации трудно рассчитывать на какую-либо "плавную" эволюцию сложившейся системы в результате очередных выборов или парламентских голосований и аналогичных "регулярных" процедур, но сохраняется возможность воздействия внесистемных импульсов (массовых, внешних, верхушечных, личностных), которые время от времени возникают. Нечто подобное происходило и в странах классической демократии в периоды ее формирования или кризисов.

О прямом влиянии "цветных революций", особенно украинской, на российскую ситуацию говорить трудно. Массовые настроения в России в конце 2004 г.¹ скорее отталкивали от подражания опыту соседей, чем привлекали к нему внимание. Но с уверенностью можно отметить одно важное обстоятельство: масштабы и характер встревоженности, если не паники, российских властных и околотовластных (советники, "технологии" и т.п.) структур, вызванной развитием украинских событий, оказали непосредственное влияние на оценки теми же силами протестных выступлений в России.

Российский кризис начала 2005 г.: ожидаемое и неожиданное. В конце 2004 г. "большой" социальный кризис в стране представлялся невозможным, хотя признаки общественного беспокойства и недовольства, в значительной мере связанного с ожиданием замены льгот, нарастали, и это постоянно подтверждали опросы общественного мнения. Из различных источников было известно, что предлагавшиеся правительством меры по "монетизации" льгот подготовлены наспех, без должных расчетов и без необходимой разъяснительной работы среди населения. Здесь также явно сказывалась **привычка** авторитарной власти видеть в населении послушную массу, которая "съест все, что дают", поскольку не имеет возможности разобрататься в навязанных изменениях и, тем более, сопротивляться им. Повсеместные акции массового протеста привели к шоку властные структуры и в первые же недели существенно изменили обстановку в стране. Привыкший терпеть и приспособившись "человек обыкновенный" впервые за

¹ См. статью Б.Дубина, публикуемую в этом номере "Вестника".

многие десятилетия показал себя возмущенным и активно протестующим.

Чтобы оценить масштабы выступлений, недостаточно сведений об их непосредственных участниках, весьма важны показатели поддержки и сочувствия (обычно заявленная в ходе опроса "готовность участвовать" на деле означает выражение поддержки). В своем городе, районе 30% опрошенных видели акции протеста, вызванные заменой льгот. В январе 2005 г. лишь около 0,5% опрошенных сообщили, что сами принимали участие в таких акциях, 26% — что могли бы в них участвовать. 41% заявили, что поддерживают действия протеста, еще 41% — что относятся к ним с пониманием, хотя их не поддерживают.

Чаще всего поддержку протестным действиям выражают люди старших возрастов (55 лет и старше — 51%), а также, что весьма примечательно, имеющие высшее образование (42%). Причем на такие действия в своем городе прежде всего обратили внимание высокообразованные — 44%, из тех, кто имеет низкий уровень образования, — только 22%. Непосредственно участвовали в протестах преимущественно люди в возрасте 25–40 лет, они же чаще всего (60%) полагают, что акции носят стихийный характер. Версию "подстрекателей, провокаторов" разделяют 17–19%. Стоит добавить к этому данные о том, что процесс замены льгот вызвал недоумение, обиду, возмущение более чем у половины населения (56%). Впервые за многие десятилетия сопоставление приведенных показателей позволяет сделать вывод о существовании серьезной волны общественного недовольства в общенациональных масштабах.

Другая сторона создавшейся ситуации — неожиданная растерянность власти, неспособной признавать всерьез собственные ошибки, но готовой отступать под нажимом протестов. Это относится не только к льготам: как только появились сообщения, что в некоторых городах к возмущенным пенсионерам присоединяются студенты, встревоженные намерением военного ведомства отменить отсрочки от призыва, тут же начались официальные опровержения...

Чтобы судить о значении и потенциале нынешней протестной волны, как представляется, следует отойти от категорий социальной политики и ограниченно-экономических стереотипов наподобие оппозиции "прогрессивных" денежных выплат "консервативным" (в советском стиле) льготам. За вышедшим на улицы спором о льготах и монетизации кроется гораздо более важная проблема отношений между "властью" и "народом". Дело в том, что "льготы", унаследованные от советских времен или накопленные

позже, — это ключевое звено в том негласном "социальном контракте", который обеспечивал относительную стабильность и спокойствие в дефицитарном и бедном обществе, это та самая "кость", которую бросал народу режим, не способный обеспечить эффективность экономики и нормальный уровень благосостояния, получая в ответ дешевую и послушную рабочую силу, а также массовую готовность равнодушного одобрения власти и ее носителей. Поспешная и неподготовленная отмена льгот при отсутствии современной экономики, при уровне жизни, не достигшем позднесоветских показателей (1991 г.), фактически взрывает весь этот "социальный контракт". Вряд ли можно объяснить такой чуть ли не самоубийственный шаг только социальной некомпетентностью или чиновным рвением каких-то функционеров. В его основе — стремление имитировать "современность" и местами даже "либерализм" существующей социально-политической системы при отсутствии действительно современной экономики, политики, правового государства и эффективного управления. Результатом оказывается убогая и социально опасная пародия на либеральные реформы, дискредитирующая и власть, и либерализм.

Пока (к началу февраля 2005 г.) социальные протесты в стране имеют диффузный, неорганизованный характер. Некого не то, что "отравить", но и "привлечь". Не видно политических сил (старых или новых), которые способны были бы придать движению организованный характер. Существенное значение имеет демонстративно "нестоличный" вид протестного движения, которое довольно тщательно обходит Москву стороной. Почти не видно и собственно политических лозунгов, хотя в наших исконных условиях любое несогласие несет политическую нагрузку. Не существует и никакой политической альтернативы, подобной той, что предлагалась в Грузии, на Украине. Состав сложившейся в последние годы властной верхушки, видимо, исключает какие-либо антипрезидентские реакции на этом уровне.

Варианты развития нынешней протестной волны в российском обществе зависят от многих разнопорядковых факторов — способов политизации массовых выступлений, действий власти, например, в отношении обещанной "реформы" ЖКХ, "весенних" общественных настроений и пр. Трудно сомневаться в том, что одним из наиболее важных последствий станет дальнейшее разрушение, прежде всего в сознании человека обыкновенного, "нерушимого единства партии (...власти, президента) и народа" в России.